

Евгений Голубенко

## Живое письмо

Бухгалтерия. Две женщины и их начальник. Он в черных на-рукавниках и дымит папиросой, постоянно. Маленький мальчик пристаёт к матери с вопросами, мешает считать на арифмометре, сбивает со счета. Она сует ему пачку испорченных бланков. Обратная сторона желтоватой тонкой бумаги чистая – на ней можно рисовать. Всем детям трудно соразмерить силу нажима на карандаш с плотностью бумаги. Чаще всего первые опыты приводят к порче бумаги, к рваным отверстиям в ней. Почему снова и снова ребенок одной линией, не отрывая руки, рисует звезду? Радует, что освоил этот навык, и хочет его запомнить-закрепить? А потом приходит черед свастики, и он, как заводной, выводит одну за другой, пока его не припугнули милиционером. Семен Маркович, главный бухгалтер Горводоканала, подарил мне крохотный, размером с мизинец, перочинный ножик. Много лет я хранил его как дорогое сокровище. А утратил уже подростком: не устоял перед уговорами старшего брата сменить ножик на кусок толстой алюминиевой трубки. Из нее мы вытачивали напильниками замысловатые перстни.

Если человек не инвалид, а среднеарифметическое здоровое существо, то в начале жизни он имеет множество возможностей для замечательных развлечений. Он любит рисовать, играть в карты со сверстниками на лужайке у реки, периодически прыгая в теплую грязную воду. В блаженстве лежать на солнце после купания. По многу часов гонять мяч на школьной баскетбольной площадке. И неважно, что площадка неровная с уклоном градусов двадцать и посыпана мелким гравием. Иногда выезжать за город

в лес собирать грибы. Повзрослев, начинаются поездки. Радость путешествий в новые, незнакомые места. Я пишу о таких банальностях потому, что наступает время, когда обнаруживаешь, что большинство этих радостей покинули тебя безвозвратно. Вдруг вспоминаешь, что двадцать лет не становился на лыжи и уже тридцать не надевал коньки. Когда последний раз ходил за грибами? И играть в футбол вряд ли уже придется. Даже путешествия надоели. А что же осталось? Осталась живопись. Из всего этого дежурного набора простых человеческих радостей до сих пор доставляет удовольствие рисование и побочные с ним занятия. Не надоедают.

С младенчества человека окружает множество изображений: фотографий, книжных иллюстраций, картинок, вырванных из журналов и приколотых на стенку, любительской живописи (дядя приятеля скопировал маслом «Трех богатырей» и «Итальянский полдень»), добра этого много вокруг, и его наличие кажется само собой разумеющимся.

Детский сад. Воспитатель раздает маленьким мальчикам и девочкам темно-серый картон и гуашь. Показывает, как элементарно изобразить зиму белой краской. Дети послушно повторяют ее действия: три кружочка один над другим, мал мала меньше – снеговик. Мелкие точки по всему полю – снегопад. Они и друг у друга «слизывают». Деревья рисуют одинаково коническими и всегда коричневой краской.

В детском саду на обед часто давали красный борщ. Это на первое. На второе запомнилась колбаса с гарниром. Вареная колбаса, еще раз сваренная для безопасности детей. Сало легко удалялось кончиком вилки. А селедку повариха тетя Люба мелко крошила и смешивала с картофельным пюре, чтобы легче было эту полезную смесь протолкнуть мне в желудок. Ей это ни разу так и не удалось. А мой впоследствии одноклассник Толлик ненавидел гречку и говорил о себе в третьем лице: «Толюсю нэ любыть черной каши». Это была эпоха повального увлечения рыбьим жиром.

Мальчик лет восьми кладет альбом для рисования на табуретку. Сам мостится на маленьком стульчике. Брат шести лет пристраивается рядом, стоя на коленях. Непонятно, кто больше волнуется: автор в предвкушении творческого процесса или зритель, получивший право наблюдать за обещание не лезть с вопросами и советами. Рисунок получился типично детский: городской пейзаж с разноцветными домиками, но потом, как будто кто на ухо нашептал, мальчикам захотелось взрывов, дыма и самолетов с танками. Мирная картинка была уничтожена динамикой военной экспрессии.

Помню гипсовую вазу – пособие по рисованию в средней школе.

Помню задание нарисовать тарелку с орнаментом и слова «декоративный фриз». Помню дорогие наборы цветных карандашей и помню недорогие – попроще. Помню, что трение сухого карандаша о бумагу мне неприятно. И помню свое разочарование тем, что окрас самого стержня, тела карандаша, всегда ярче, чем его след на белой бумаге. Деревянная оболочка, выкрашенная масляной краской, всего привлекательнее. Некоторые дети проблему яркости решали при помощи слюны – лизали карандаш языком. Всем знаком звук рассыпавшихся по полу карандашей. И как следствие – расколотый на мелкие кусочки твердый стержень пигмента внутри древесины. Нет ничего отвратительнее, чем крошащийся при заточке карандаш. У отечественных, к тому же, деревянная оболочка встречалась с сучками и из твердых пород. Если затачивать карандаш кухонным ножом и не вытирать его тряпкой, следы графита переходят на сливочное масло.

В школе каждый месяц со всех учащихся собирали по рублю на кипяченое молоко. Оно стояло в столовой на подносе (для каждого класса отдельно), и хочешь – пей, хочешь – вылей, никто не проверял. Я пенку молочную употреблял, а вот некоторые ее ненавидели. На булочку к стакану молока дома выделяли десять копеек ежедневно. Я принадлежу к поколению, не знавшему голода и войны. Засохшей булочкой или коркой хлеба мои сверстники иногда играли в футбол, повергая в священный ужас своих роди-

телей и учителей. За девять лет учебы я ни разу не попробовал обед в школьной столовке.

Я хотел заниматься археологией. Каменец-Подольский такой город, в котором всегда копали. Каждое лето приезжали экспедиции. И у меня как у аборигена были свои уголья по добыче артефактов. На отмелях реки, на каменистых перекатах, когда уровень воды слегка опускался, за час-другой, вооружившись ковырялкой, можно было насобирать пару нательных медальонов и десяток монет. Австро-венгерских, польских, турецких и русских. Обычно мелкого достоинства, медных, но и серебро попадалось время от времени. Такая ерунда как пуговицы, старые пломбы, пражки и полуистлевшие кованые гвозди не ценились совсем.

Потом в моду вошла геология. Социалистический романтизм. Таежные тропы. Рюкзак за спиной, медведи и ни души на тысячи километров вокруг. Тогда я думал, что геологи заняты поисками золота и драгоценных камней. Лет через десять я случайно познакомился с геологами. Они приехали на «материк» с «поля». В Якутии (ударение на последнем слоге) геологи искали банальные стройматериалы: песок, щебень, мергель для производства цемента. Долгой сибирской зимой геологи месяцами сидят в помещении, изучают собранное летом и литрами глушат водку, чтобы не сойти с ума от тоски.

В моей средней школе № 13 рисование преподавали учителя физкультуры. Мужчина и женщина по очереди. Он знал, что акварель любит много воды, а ей угодить было проще простого – достаточно было не забыть дома альбом с карандашами.

Летом, на каникулах, нас с братом кто-то надоумил пойти в изостудию Дворца пионеров. В большой комнате на большущих листах бумаги матерые студийцы писали акварелью натюрморт: подсолнух, разрезанную тыкву и не помню, что еще. Может, яблоки и груши. По сравнению с привычным детским сюсюканьем в маленьком школьном альбоме маленькими же беличьими кистями за тридцать копеек – у студийцев широкое смелое письмо. Нам с братом отдельно, в уголке, поставили на столик глиняный горшок и кружку. И мы карандашами принялись за дело. Через минут

десять наблюдения за нашей возней молодой человек, помощник пожилого педагога, сел сначала ко мне и энергичными жирными штрихами нарисовал натюрморт от начала и до конца, а потом проделал ту же процедуру в альбоме брата. Брат спросил, что нам делать дальше, и узнал, что на завтра намечен групповой выход на этюды. Мы опоздали из-за транспорта минут на пятнадцать, дверь была заперта, и вокруг ни души. На двери студии не было и намека на расписание работы. Больше мы туда не совались.

В художественную школу я идти не хотел. Когда появились слухи о ее открытии, я сначала обрадовался, подумал, что это избавит от занятий в общеобразовательной. Перепутал с училищем. Потом прояснилось, что ходить туда нужно после уроков, как ходят в музыкальную, – это разочаровало. Учащиеся музыкальной школы вызывали жалость – они ее ненавидели. Большинство пали жертвами тщеславия своих родителей. Не знаю про знаменитого нынче земляка-ровесника Мишу Альперина, может, ему и нравилось заниматься. Перед Новым годом мой одноклассник показал свою работу, сделанную в художке, (я даже не знал, что он посещает), и акварель мне очень понравилась. Задела за живое. Я понял, что мне так не нарисовать. В нашем классе художником считали меня, а тихоня Саша никогда не «светился». Дома что-то рисовал, но никому не показывал. Он легко уговорил пойти с ним на занятия в художественную, и там без всяких церемоний меня приняли в середине учебного года. Учитель полистал мой альбом для рисования и спросил, смогут ли родители заплатить десять рублей за полугодие. По странной случайности именно эти несколько рисунков сохранились до сих пор.

В семидесятые годы среди интеллигенции появился культ детского рисунка. Мода на детское непосредственное восприятие жизни. Отдельно от научного отношения к детскому творчеству и без понимания, что дети, как и взрослые, бывают бесталанными. Но это увлечение избавило многих малолеток от приставаний, которые преследовали десятилетием раньше меня и моих сверстников: слабо ли зрисувать с картинки лицо Ленина? Именно это зрисувать запомнилось, а не змалюваты. В народе было поверье, слух, что портретировать вождя позволяют только из-

бранным, только самым-самым. Профиль Ленина мой старший брат копировал одной левой.

Школьники рисуют стенгазету. Большого формата. Такой лист бумаги не так-то просто раздобыть. Проще всего купить какой-нибудь дешевый плакат по технике безопасности и использовать обратную, чистую сторону. Стилистика исполнения сегодня называлась бы гламурной. С новогодней открытки копировали удалую тройку лошадей. Грифель цветного карандаша мелко, в пудру, крошили по фону и растирали ватой – получалась мягкая растяжка. Потом в нужных местах мазали клеем и посыпали толченым стеклом битых елочных игрушек.

Геологический термин «тектонический разлом» очень точно подходит для описания быта в глубокой провинции и столицах. Когда я смотрю документальное кино о жизни в столицах в пятидесятые, послевоенные годы, поражаюсь тому, что все до мелочей мне знакомо, хотя я родился на десять лет позже. Сдвиг, смещение на целое десятилетие проявилось в том, что мои шестидесятые ничем не отличались от столичных пятидесятых, а так называемая оттепель шестидесятых знакома мне только по художественной литературе. Когда в 71 году я приехал в Одессу, это был не переезд в другой, новый для меня большой город, а прыжок в другую эпоху, скачок во времени, который впоследствии я испытал, попав в 90 году в Западный Берлин. Там я почувствовал себя эскимосом, нечаянно оказавшимся среди совершенно другой, незнакомой и высокоразвитой цивилизации.

Сколько людей имеют способности к рисованию? В школьном классе я ощущал себя единственным умельцем и думал, что дар к рисованию большая редкость. Но в каждом классе есть один-два таких способных, и если не лениться и подсчитать, то получается, самое малое – пару человек на сотню. А это, в свою очередь, два десятка на тысячу и, соответственно, несколько сотен на небольшой городок – целая армия. Когда первый раз приходишь в художественную школу, ты, единственный в своем роде у себя на хуторе, и видишь эту толпу единственных и неповторимых, – это коробит.

Есть и объективное ощущение чужого превосходства. Я увидел много людей, более меня продвинутых в своем умении, и внутри что-то щелкнуло, захотелось как минимум догнать, научиться рисовать не хуже их. Через несколько занятий я присмотрелся к публике и увидел явных, бесприкословных лидеров. У них за плечами была изостудия при Дворце пионеров, уверенность в себе и высокомерное отношение к остальным. Потом я заметил, что у наших педагогов была какая-то своя, отличная от нашей, детской, табель о рангах, и долго не мог уловить, в чем причина. У нас, учащихся, главным критерием одаренности было умение достигать почти фотографической иллюзорности, а учителя не придавали этому большого значения.

Над кроватью родителей много лет, пока совсем не истрепался, висел коврик, писанный по клеенке. Девушка с русой косой в окружении цветов. Подарок безымянного заключенного советских лагерей. Память об отцовской армейской службе. Отец охранял лагерь в Башкирии. По руке девушки ползла грязно-коричневая гусеница размером от ее локтя до запястья. Это насекомое, вернее, его размер и цвет, казалось ошибкой автора или чужим неумелым вторжением в готовое изделие. Сейчас я думаю, что эта гусеница символизировала подневольный статус автора.

В школьном коридоре в дешевых рамках дешевые репродукции хитов русской живописи. От передвижников до Дейнеки. «Утро стрелецкой казни», «Московский дворик», «Грачи прилетели», что-нибудь Венецианова. Преимущество примитивистского надкроватного коврика было в том, что на нем были отлично видны следы кисти. И даже легкий запах масляных красок не выветривался годами. Родители моего сверстника-соседа выписывали журнал «Огонек», и он собрал отличную коллекцию репродукций – вырывал из журнала сокровища Эрмитажа. Двойной разворот в каждом номере. В местном универмаге продавали «Купание красного коня». Непонятно для кого. Этот шедевр Петрова-Водкина был объектом множества насмешек. О впечатлении, которое производит живопись в музее, первый раз я услышал от шофера Горводоканала, сотрудника моей матери. Вася побывал в Ленинграде и был поражен тем, что когда подойдешь к картине близко –

мазня мазней, а издали «как живое». А однажды в город привезли выставку из столичных запасников. Настоящих голландцев. И вот тут я получил серьезное «ранение в голову». Впервые проняло.

В городском парке был штатный художник-оформитель. Он рисовал стенды с карикатурами (увеличивал то, что ему приглянулось в журнале «Крокодил») и раз в год обновлял-освежал карту СССР – она стояла на открытом воздухе посреди аллеи. Для каждой республики мастер подбирал свой особенный цвет, а если оттенков ему не хватало, то одинаковые колера старался хотя бы не рисовать близко друг к другу. Запах масляной краски проник в мой мозг и превратился в механизм условного рефлекса, в запах-обещание удовольствия.

Недавно я увидел африканские рукописные киноафиши. Трансформеры, киборги и спайдермены – смешно нарисованные с фотографий примитивы, и вспомнил, что в моем детстве возле кинотеатра тоже висели самодельные картины-афиши. Художник-любитель не всегда справлялся с анатомией персонажей, и мушкетеры, Фантомас, американские индейцы гэдээровского разлива часто выглядели инвалидами. Африканский примитив с американским привкусом резко вошел в моду, и сейчас его скупают ловкие дельцы. К сожалению, отечественные образцы этого жанра не сохранились. Даже и завалились если в каком-нибудь чулане – давно разрушились от воздействия сырости. Афиши не грунтовали как следует, и один сюжет рисовали поверх другого, когда в прокат выходила новая картина.

Весной и летом художники наезжали к нам в город писать этюды. В старый город и возле крепости. На палитру они выдавливали много краски, а после работы грязные остатки шпателем снимали на газету. Дети подбирали эти слипшиеся комки бумаги и пальцем рисовали на штукатурке забора серо-буро-малиновой смесью. Один такой «пейзаж» продержался лет десять, от лета к лету становясь все менее разборчивым. Когда я, став взрослым художником, выдавливал слишком много краски, мой друг физик удивлялся такой расточительности и спрашивал, нельзя ли как-нибудь рационализировать этот процесс. Художники воскресного дня, примитивисты, в большинстве обходятся без палитры. Они



выдавливают по чуть-чуть краски прямо на кончик кисти, очень экономно ее расходуя. Что удивляло в работах заезжих мастеров – малое сходство с натурой. Я и сейчас не понимаю, зачем писать на натуре свои фантазии, ведь с большим комфортом это можно делать в студии.

Запомнился случай творческой неудачи. После двух часов мучений над пейзажем автор безжалостно соскоблил на газету всю краску.

В живописи маслом тема вытирания кистей отдельная и важная, как тема изобретения подтирки у Франсуа Рабле. Обычно кисточки вытирали газетой. И не только кисточки, но и нежные места своего тела, по причине отсутствия в стране салфеток и туалетной бумаги. Ничего более противного, чем ощущение пальцами щетины сквозь газетную бумагу, я не припоминаю. Это было единственно неприятным в письме масляными красками. Лучше всего мыть кисти скипидаром и вытирать тряпками из советского трикотажного дамского белья, над которым так зло посмеялся Ив Монтан. И мы, дети, тоже смеялись над товарищем, который принес из дому прохудившиеся старые трусы матери, чтобы вытирать ими кисти. Начинающие «писатели» маслом сначала пачкаются в краске по локоть. Потом по запястья. По мере взросления и обучения можно дойти до живописи в смокинге и белых перчатках.

Другая картинка. Берег реки Смотрич. Осока, утки плавают, гуси. Вода илистая, мутная, цвета кофе с молоком. Двое солдат пишут этюды. Один маслом – другой акварелью. Маслом пишет сержант на негрунтованном куске гофрированного внутри упаковочного картона. Мимика утрированная, движения комичные: наклоны головы, взгляд с прищуром. Мазнет разок-другой – отбежит, посмотрит. Между ними бутылка вина. Отхлебывают из горлышка по очереди. Сержант допил остаток, размял затекшую спину:

– Нет, не идет сегодня, настроение не могу схватить. Давай поменяемся, что-то мне акварелью пописать захотелось.

Поменялись. Товарищ принял за масло, а сержант мусолит акварель сослуживца. Ничего не разобрать. Какие-то бурые потеки. Бумага совсем размокла, и краска стекает, не задерживаясь на ней.

Сержант:

– Все, надо завязывать, не получается сегодня, бросай это грязное дело, хочу до ужина в часть успеть, скоро стемнеет, и в магазин еще забежать – ребятам бухло взять.

Солдат снял этюд с треноги и бросил его в речку, сержант последовал его примеру. Неудачные изделия медленно поплыли вниз по течению. Вдогонку полетела пустая бутылка из-под вина.

Почему в голове поселились эти парни? С одним из них я год спустя встретился в коридоре одесского художественного училища. Он, как и я, приехал поступать. В штатском, с подростковыми волосами, демобилизованный Валентин стал совсем другим существом. Меня он узнал с трудом, хотя свои рисовальные принадлежности, чтобы не таскать в часть после похода на этюды, он с товарищем периодически оставлял в моем сарае. Военная форма и живопись дико сочеталась в моем детском романтическом представлении о занятии искусством. Вместо берета и блузы художника – армейское выцветшее ХБ и запах начищенной кирзы.

Очень долго я не мог привыкнуть к выражению «писать» применительно к работе красками. Много лет я отвыкал от школьной привычки письмо связывать только с написанием букв авторучкой на бумаге.

После уроков я забегал домой пообедать и переодеться. Был такой старинный предрассудок, что обязательно хотя бы раз в день надо поесть жидкого и горячего. Но именно в это время дня я меньше всего хотел есть суп. Насиловал себя, страдал над тарелкой, меряя глубину жидкости ложкой, опущенной в юшку вертикально. Иногда, если торопился, половину «первого» выливал в миску кошки возле сарая. Доедала не кошка, а залетные собаки.

Художественная школа. Гипсовая голова Давида работы Микеланджело, Зевс, Аполлон, кондотьер Гетамелатта. Сlepки недавно прислали из Ленинграда. Они белоснежные, новые.

Шуршат карандаши (профессионал с закрытыми глазами может отличить по звуку, мягким или твердым карандашом выполняется рисунок). Задание – анатомическая фигура работы Гудона. Боковой, очень рельефный свет. Для учебного рисунка важно

присутствие всех градаций: свет, полутьма, тень, обязательный рефлекс, блик. За спинами учеников прохаживается преподаватель Владимир Сергеевич:

– Я останний раз пытаю, хто розмалював Антыною губы?

Тишина, шуршание еще более интенсивное. Пострадавший бюст с кокетливо алыми губами не выдает шутника.

– Яццо вы мэни нэ признаетэсь, хто цэ зробив, я змушений буду покараты усих. Нихто нэ выйдэ на пэрэрву протягом мисяця. Нэвжэ вы, йолопы, нэ розумиетэ, що фарба всмоктуеться в гипс, и я тэпэр вважаю Антыноя нэвыправно зипсованым, варвары. Наша прыбыральныця захворила и з сьогоднишнього дня мыты пидлогу будэтэ по чэрзи.

Меня всю жизнь тянуло к людям, более одаренным, чем я. Хотелось научиться новому. Я заметил, что хорошо сделанная работа – это работа, которая вызывает зависть. Я не принимаю формулировок «белая» или «черная». Если чье-то изделие нравится всем, а у меня не вызывает зависти, – значит, она плохая, для меня по крайней мере.

Мои друзья Сережа и Саша – ярко выраженные лидеры. Они чувствуют себя опытными мастерами. Пишут маслом, у них есть фабричной работы этюдники. В воскресенье собрались на натуру и пригласили меня. Обещались показать, как обращаться с масляными красками. Поздняя осень. Заморозки. Забрались в овраг лесопарка. Друзья наделили меня всем понемногу: дали картон, пару кисточек, а вместо палитры краску я смешивал на булыжнике. Разожгли костер – чтобы не околеть. Я пытался написать панораму старого города, а Сергей с Сашей по странной прихоти уселись напротив сухого пня и увлеклись его замысловатой корневой системой. Пень был действительно очень красивый, но почти не отличался от пня, который валялся в Сережинном дворе возле сарая, и это обстоятельство как-то беспокоило меня: «Зачем эта дурацкая вылазка на «пенэр»?».

Я так и не полюбил работу на натуре. Раздражает быстро меняющееся состояние природы и человек за моей спиной, зритель, который сопит и ждет случая рассказать свою историю о том, почему он бросил рисовать. Я знаю наизусть все дежурные от

кровения о тяжелом детстве несостоявшихся художников, о родительском запрете на получение легкомысленной профессии. Но из похода на этюды некоторые товарищи извлекали очень конкретную пользу. Когда на первом курсе училища ссылка в село на сельхозработы совпала с хоккейными баталиями между СССР и Канадой, некоторые друзья догадались писать этюды с домов, украшенных телеантеннами, и хозяева телевизоров в обмен на «портрет» своего жилья пускали к себе посмотреть волнующие поединки. Тут же уместно сказать, что рисовать такие «украшения» было не очень в моде. Коммуникации в виде антенн, путаницы проводов, канализационных люков и крепежной электроарматуры на фасадах старых зданий обычно опускались как ненужные подробности. И с годами глаз художника настолько привыкает не замечать такие детали, что если ему вздумалось заняться фотографией – неизбежно возникают проблемы. Он с удивлением рассматривает на своих снимках неожиданно вылезшие сюрпризы, проигнорированные его тренированным субъективным зрением.

Все деньги, что мне выделялись родителями на школьный «перекус» (я не чувствовал в нем особой нужды), теперь уходили на масляные краски. Большинство красителей стоили совсем недорого. Тюбик белил был чуть дороже пачки мороженого.

Урок рисунка в художественной школе. Владимир Сергеевич говорил с двуязычными школьниками на языке каждого, а истории рассказывал только на украинском:

– Я, колы складав испити до училища, вважав себе дуже розумним. За дві години намалював екзаменаційнє завдання. А потім, щоб нє нудьгувати, переписав наново, як імпрессионісти, крапочками. Хотів показати, який я майстерний. На моє щастя, викладачу я сподобався, і він мєні тыхєнько, бо пидказувати нє має права кажє:

– Хлопче, ты мыслиш, алє нє в той бик.

И я швидєнько знову пєрєписав по-учнивськи, як спочатку було.

Преподаватель остановился возле меня. Внимательно рассматривает рисунок:

– Тоби сколько рокив зараз, ты, мабуть, восьмый клас закинчуеш?

– Да, уже немного осталось.

– И шо ты соби думаеш про будущее свое, какое имееш представление?

– В индустриальный собираюсь техникум.

– Мне кажется, ты парень серьезный, знаешь, чего хочешь, может, тебе попробовать продолжить обучение в художественном училище?

К вечеру, после занятий в художественной школе, просыпался аппетит. И не в последнюю очередь от активной беготни на перерывах.

Дети обычно рисуют на столе, и рисунок находится в перпендикулярной плоскости к их глазам. Работа, стоящая на мольберте, расположена параллельно – все части рисунка равноудалены от глаз. Когда в художественной школе еще не было мольбертов, использовали стулья – на одном сидели, на другой ставили рисунок вертикально, опирая на спинку. Удобство сомнительное, потому что сидели на той же высоте, скрючившись. Маленькую работу можно и на коленях делать, роли не играет. Годы спустя я видел снимки выдающихся графиков за работой. В совершенно неудобных теоретически условиях. И на полу, на четвереньках в том числе.

Один настоящий художник, по внешним повадкам, у нас в школе был. Леня Жарун. Он рвал свои работы. Швырял кисточки. Бился в истерике, если ничего не получалось. Подолгу не являлся на занятия, когда хандрил. Не терпел насмешек. Замыслы его были грандиозные. Через пару лет в художественном училище я встретил уже немало людей этого психотипа. Мой приятель набрасывался с кулаками на позирующего, если тот не мог усидеть неподвижно. Но в нашей школе Леня был самородок. Учебу он так и не закончил.

Фамилии учеников я помню почти все: братья Шрееры, братья Дзензеля, Дима Мельник, Любимский, Крывый, Ткачук, Игна-

тьев, Карвацкий, Зарицкий, Миронюк, Малецкая, Лалак, Тымчук, Огольцов, Огрузинский, Чорпита, полукитаец Лю Гун Шун, Шабунина, Моторный, Иванов, Костовский, Поджинский, Мацюра.

Дима Мельник, парень из пригородного района Подзамче, принес композицию на тему «Спорт». И все над ним смеялись, тыкали пальцами и подтрунивали. Работа Димы, застыло-кукольные спортсмены в полосатых костюмчиках, очень смахивала на известную работу Анри Руссо, французского примитивиста. И Дима страдал от издевательств, а Владимир Сергеевич утешал, втолковывал расстроенному парню, что нельзя стесняться собственного естества, нельзя ему противиться. Никуда не денешься от своей крестьянской широкой кости и круглой головы с оттопыренными ушами. Усилия учителя были напрасны – если ребенок пришел учиться рисовать, ему не может в принципе нравиться «детскость» примитивистов. Он хочет избавиться от собственной «детскости», хочет походить на великих академиков. Если худо-бедно человек научился правильно анатомически рисовать, он уже никогда не сможет вернуться к себе неученому, просто-душно наивному. Такие попытки у хорошо обученных коллег я наблюдал неоднократно, и могу всегда отличить наивного художника от его имитации с первого взгляда. Такое изображение называется стилизацией. И разница между великолепной работой в примитивистском стиле и собственно примитивом – небо и земля. Чтобы сохранить в Диме Мельнике талант наивного художника, нужно было бы прекратить его обучение по стандартной схеме-программе. Но для этого необходимо как минимум, чтобы он сам этого захотел. Встречается еще одно занятное явление, похожее на наивное искусство, у хорошо обученных рисовать художников. Мастер запросто пишет портрет с натуры в гиперреалистической манере, а по памяти, без ошибок, человека нарисовать не способен, абсолютная беспомощность в работе по представлению. Зрительная память равна нулю.

Пока человек еще не голодал, ему наскучивает еда, приготовленная дома. Как бы хорошо не готовила мать, как бы она не изощрялась в кулинарном разнообразии, пища, случайно съеденная в гостях, кажется вкуснее своей домашней.

По городу едет подъемный кран. Снаружи проволокой к нему прикручен большой холст. За рулем художник Слава Донец. Раньше он преподавал живопись в художественной школе, а потом уволился – не поладил с директором. Слава работает на стройке и в нерабочее время ездит на этюды. Это уже и не этюд никакой. Готовая картина. Грабовый лес, очень точно схваченное состояние сумрака, змеи серых гладких стволов, подстилка опавших листьев. Живопись его скромная и искренняя. Не расцвеченная понарошку.

Слава Донец был фанатом Каменца-Подольского – знал в старой исторической части города не только сохранившиеся дома, но и расположение всех разрушенных. Мечтал сделать подробный макет-реконструкцию старого города. Бывшим ученикам запрещал обращаться к себе на «вы». Так я и «тыкал» ему всю жизнь, стесняясь этой привилегии.

– Володя меня не уважает, может быть, любит, – говорил Слава про Владимира Сергеевича, – но не уважает совсем. Он уважает нашего общего товарища, который живет и преподает в Вижнице, прямо в рот ему смотрит и ловит каждое слово. Толя авторитет непререкаемый для него. Но, что смешно, для Толи авторитетом являюсь я, и все мною сказанное он принимает всерьез, без иронии и насмешек. Налей мне еще чуть-чуть. Нет, нет, только не в маленькую тару. Налей немного совсем, но стакан нужен большой. Я из маленькой посуды пить не могу... Когда работал в школе, учил вас живописи – думал, что ты дальтоник. Странные голубые оттенки в твоих акварелях преобладали.

Аудитория художественной школы. Накануне какой-то годовщины дирекция обязала преподавателя изготовить наглядную агитацию. Владимир Сергеевич с картинки по клеточкам переносит на холст стилизованный профиль Ленина. Учащиеся из-за спины наблюдают с интересом. Учитель черной краской обводит контур, публика его раздражает:

– Хлопци, чоґо вы тут не бачили, йдїть займїться своїми справами, нє трєба тут стовбычыты.

Сереза:

– Нам интересно, мы учимся.

Преподаватель:

– Цього навчатыся нэ трэба. Колы припэчэ – жизнь научит.

На перерыв юные художники бегут в сквер через дорогу. В сквере остатки сталинской парковой красоты. Почти пустое цементное ложе водоема и беседка с аистом на крыше. Аист когда-то подсвечивался неонами, но сейчас парк в полном запустении. В небольшой луже квакают лягушки. Инстинкт охотников побуждает обучающихся прекрасному братья за камни и швырять в беззащитных земноводных. Воды так мало, что спрятаться лягушкам практически некуда. Может быть, в наказание за детскую бесчувственность один камень попадает в затылок впереди стоящего стрелка. Аптека рядом, выстригают раненому тонзуру, и фонтанчик крови профессионально закрывают ватой.

Во дворе Сергея друзья пишут этюды. Частный дом, собака на цепи охраняет уборную-скворешник, куры бродят, клюют падаль. Отец Сергея слегка навеселе, пристает к нам с Сашей:

– Ну шо, хлопцы, вжэ решили, куда будете поступать?

Саша:

– Мабуть в учылыще спробувать нада. Так мэни здаецься. Для початку.

Я:

– Наверное, Саша прав, я еще не решил.

Отец:

– А Сэргий у нас в акадэмию будет поступать, да, Сэрьюжа, он правда не очень старается. Не очень к отцу прислушивается. К сожалению. Отец для него не авторитет.

Сергей:

– Видчэпысь, нэ заважай нам, иды соби куды йшов.

Отец:

– Ты, Сашко, своему отцу тоже так грубишь? И кто його так воспитывал, нэ знаю, не знаю, что з тебя вырастет, Сэргий. Я, хлопцы, в академию художеств поступил сразу после войны. Год проучился, промучился кое-как, и пришлось бросить. Сам один, без родителей, все время кушать хочется, а денег нет. И помочи ждать не от кого. В сорок седьмом голод по стране был страшный. И я пошел работать на стройку, теперь прораб. Но я хочу, чтобы Сэргий,



сын мой, вместо меня закончил академию художеств. А он меня ни в грош не ставит...

Отец ушел, и Сергей жалуется друзьям:

– Чуть не каждый день поддатый. Работа такая, все ему наливают. У отца под руками, в полном его распоряжении, цемент, кирпич, а в магазине ничего нет. А насчет академии – после войны конкурса никакого не было. Сейчас даже соваться страшно.

У Сергея абсолютный «глаз». Сейчас, в век сканеров и принтеров, просчитали бы, сколько пикселей на миллиметр анализируют его мозги, сколько мгновенных сравнений в секунду делают автоматически произвольно его глаза, потому что рисование – это и есть сканирование изображения. Ну, и координация этих чудо-глаз с руками необходима. У Сергея все было в порядке. Я заметил в глазах учителя неподдельный восторг, когда он смотрел на голову Давида, нарисованную Сергеем, – без единой ошибки рисунок, выполненный безупречным штрихом.

Кабинет директора художественной школы. Директор обращается ко мне:

– У нас на носу годовщина окончания войны, и надо несколько работ на тему героизма советского народа. Мы тут с педагогами посоветовались и распределили среди лучших учеников темы. Тебе достался подвиг Александра Матросова.

– Не буду, я на заказ не работаю, – фыркнул высокомерно я.

Когда вышел из кабинета, услышал, как за дверью директор с преподавателем расхохотались.

Нам читали историю искусства. Раз в неделю час или два преподаватель Фесенко рассказывал про систему античных ордеров. Стилобат, фриз, карниз, архитрав, антаблемент – как «Отче наш» заучивали мы. Когда ему надоедало или казалось, что мы заскучили, он отвлекался на постороннее и советовал не выбирать себе в жены женщин маленького роста.

– Они злые, – уверял Фесенко. – Ну посудите сами, как не быть злой, если тебе приходится всю жизнь становиться на цыпочки, заглядывать через чужое плечо, даже подпрыгивать, чтобы рассмотреть что-нибудь интересное из-за чужой спины.

Много лет спустя до меня дошло, зачем нужна жесткая система ордеров. Она придумана не для гениев – те всегда все нарушали, она держала в рамках людей среднего дарования, гарантируя хоть какой-то уровень качества. Если просто, без затей соблюдать классические пропорции, следовать апробированному – никогда не построишь заведомо плохого. Система ордеров – инструкция для посредственностей.

На перерыве подростки едят бутерброды и листают интересную книгу «Сюрреализм в искусстве». Маленький формат. Черно-белые мутные репродукции. Ругательно-обличительный текст. Но между строк проступает скрытая симпатия автора к этому буржуазному извращению, это видно по подбору картинок, по их количеству в тексте. Членистоногие слоны, «Мальчики, пугаемые соловьем» запомнились на всю жизнь. А главное – аромат какой-то чужой, неведомой нам жизни. Бутерброд тоже слово чужое, иностранное, и в практике нашей повседневности брод действительно всегда присутствует, чего не скажешь о масле – его может заменять что угодно: смалец, сметана, кусочки мяса или колбасы.

Учебная комната. Драка. Саша ударил Федю, жителя пригорода, за его непрерывные подначки. Тот упал, сел в ведро с грязной водой. Намочил брюки и половину расплескал.

Ученики школы держатся группами по месту жительства. Так и сейчас, поселковые заступились за своего. Растащили бойцов. Саша фольварецкий, а с русских фольварок кроме него в школе только девочки. Зашел учитель – разбежались по своим местам. Он сделал вид, что ничего не видел. На мольберте Саши начатая работа: Александр Матросов стоит на коленях перед амбразурой. Герой, пробитый пулями насквозь, в белом маскхалате на лимонно-желтом снегу. На всю спину расплзлось бордовое меси-во крови. Похоже на варенье. Владимир Сергеевич присел к моей работе. Что-то по Гоголю. Черти, спящий казак. Стал исправлять анатомию лошади: где-то убрал – где-то добавил. На мгновение задумался и одним росчерком добавил ей причинное место, пробормотав:

– Хай будэ жэрэбэць.

Он всем помогал с заданиями по композиции, часто увлекался и переписывал работу ученика до неузнаваемости. А иногда и у него не получалось задуманное, и он огорчался.

Летняя практика. По краю вспаханного поля идет Владимир Сергеевич и трое четверо учеников. Они смотрят себе под ноги. Иногда шарудят концом ботинка в рыхлой земле. Время от времени что-то поднимают, разглядывают. Чаще выбрасывают. Учитель:

– На цьому пагорби колысь було поселення первисных людей. Тому так багато уламкив кремнию. Особливо якщо ходити пнсля дощу, можна знайти знаряддя праці, и наконецники трапляються вид стрил. Алэ в мэнэ е мрия колысь знайти тут нэолитычну фігурку людыни, жиночу.

Сергей:

– А я мечтаю в старом городе под скалой найти целый керамический сосуд. Уже лет пять я там нахожу осколки, иногда по полтарелки, а целую никогда.

Учитель:

– И нэ знайдэш там николи. Бо то ж смитнык. Помойка, или, как ее называют по-научному, культурный слой. Из домов на скале вниз уже лет четыреста сбрасывают мусор. Что там можно найти целого? Алэ порпатись там досыть цикаво. Я знайшов там створки речных ракушек, перловиц с отверстиями круглыми. Значит, фабрика рядом была, пуговицы, гудзыки пэрлови делали.

Саша:

– И я такие находил, и кучу полуистлевших остатков кожи.

Они дошли до заброшенного сада на крутом склоне холма и устроились писать старые покрученные яблони. Учитель работает вместе с ними.

Вчера, через сорок лет, я узнал от профессора археологии, что найти в мусорных отвалах целую посуду иногда все-таки можно. В турецком городе Измаил времен его расцвета сильно испачканную пригоревшей кашей фаянсовую тарелку выбрасывали на свалку, чтобы не возиться с мытьем. И в таком виде с окаменевшими остатками еды их находили спустя двести лет.

Я пришел в художественную школу в год ее основания. И как все новое, неустроенное, школа не имела устоявшихся строгих правил. Границы дозволенного были туманными и зависели от личности педагога, а не от инструкции. Поэтому я до сих пор удивляюсь Славику Донцу, который на этюдах играл с нами в футбол и пускал купаться в речку. Я на его месте никогда бы не решился взять на себя ответственность за жизнь десятка подростков. А Владимир Сергеевич ходил с нами на кладбище, где мы обещались указать место с валявшимися бесхозно человеческими черепами. Так пополнялся бедный натюрмортный фонд школы. Поначалу не было глины для лепки, а разноцветный детский пластилин, купленный в универмаге, смешивали, разминали руками до однородной массы мы сами. Руки еще помнят ощущение от этого нудного трудоемкого занятия. В воскресенье он же, Владимир Сергеевич, приглашал желающих приходить в школу и показывал, как формовать скульптуру в гипсе. Это было его личное время. Он занимался собой, своими делами: снимал с одноглазого товарища маску, лепил голубя с натуры (голубь ни минуты не сидел спокойно – прыгал по клетке). Владимиру Сергеевичу нравился скульптор Брынкуш, или Бранкузи, как его называли французы, простотой и лаконичностью формы. И нам он хотел привить свое понимание пластики. У него была теория, согласно которой желание отломать что-нибудь от парковой скульптуры провоцируют хрупкие далеко выступающие от монолита детали. Впоследствии я встречал много великолепных и хрупких на вид скульптур, но теория Владимира Сергеевича о хулигане, пробующем отломать оттопыренный палец изваяния, живет во мне параллельно с новыми взглядами на искусство скульптуры. Я знаю, что причинные места античных богов отломали не хулиганы, а первые христиане. А его теорию простой, компактной, текуче-красивой пластики мастера соцреализма довели до предела «совершенства»: памятник вождю в глухом селе мог состоять из двух отливочных частей, лицевой и затылочной, и назывался этот продукт «обмылком».

Мы торчали в школе с утра дотемна, но я ни разу не почувствовал, что мы ему можем помешать. И работу над композицией он никогда не ограничивал по времени. Хотя, сто процентов, у него

на руках был какой-то учебный план по валу. Такой особенный период жизни был, когда каждый день приносит что-то новое. Дремлешь в общеобразовательной школе, ждешь конца уроков, чтобы поскорее бежать в художественную, или, как мы ее называли, в «семинарию». Единственным пробелом в нашем художественном воспитании я считаю внушенное презрение к успеху. Наш любимый учитель предпочитал рассказывать о художниках, умерших в бедности и забвении, а случаи процветания и богатства игнорировал. Нет чтобы рассказать о щеголе и дипломате Рубенсе или придворном любимце Ван Дейке – Владимиру Сергеевичу больше по душе была история с отрезанным ухом Ван Гога, старость в бедности и забвении Рембрандта, мытарства Гогена в Полинезии. Наверное, таким образом он хотел нас обезопасить от разочарований в будущем. Тогда же в журнале «Работница» мне впервые попала на глаза «Терраса ночного кафе» Ван Гога. Даже от паршивенькой репродукции веяло волшебным очарованием Прованса.

В какое училище мне ехать поступать, вопрос решался автоматически: и Владимир Сергеевич, и Сергей Казимирович – учитель рисунка, заканчивали Грековское в Одессе.

Первый государственный шницель я съел на перерыве в воскресное посещение художественной школы.

